

АЛЕКСАНДР ГРИН

Крысолов



Магистраль. Главный тренд

Александр Грин
Крысолов. Рассказы

«ЭКСМО»

1924

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Грин А. С.

Крысолов. Рассказы / А. С. Грин — «Эксмо»,
1924 — (Магистраль. Главный тренд)

ISBN 978-5-04-256426-0

Мы, собравшиеся на этих страницах узники, страдающие бессонницей бродяги, дикари с отдаленных островов, лунатики и волшебники, убийцы и отравители, влюбленные невротики и жестокие лицемерные богачи, циркачи, мстители и свободолюбивые каторжане, художники и мародеры, созданные воображением главного эскаписта XX века Александра Грина, не так уж эфемерны. Стоит только оглядеться вокруг, и мы тут как тут... Сборник волнующих рассказов «темного» Александра Грина (1880–1932) разных лет проведет вас сквозь предреволюционный Петроград до залитых солнцем джунглей, которых нет ни на одной карте мира...

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-256426-0

© Грин А. С., 1924
© Эксмо, 1924

Содержание

Марат	6
I	6
II	9
III	13
IV	14
Кирпич и музыка	15
I	15
II	17
III	18
IV	19
V	21
VI	23
Игрушка	25
I	25
II	27
Кошмар	29
I	29
II	31
III	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Александр Грин

Крысолов

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

* * *

Марат

I

Мы шли по улице, веселые и беззаботные, хотя за нами след в след ступали две пары ног и так близко, что можно было слышать сдержанное дыхание и ровные, крадущиеся шаги. Не останавливаясь и не оглядываясь, мы шли квартал за кварталом, неторопливо переходя мостовые, рассеянно оглядывая витрины и беззаботно обмениваясь замечаниями. Ян, товарищ мой, приговоренный к смерти, сосредоточенно шагал, смотря прямо перед собой. Его смуглое, решительное лицо с острыми цыганскими скулами было невозмутимо, и только щеки слегка розовели от долгой ходьбы. И в такт нашим шагам, шагам мирных обывателей, делающих моцион, раздавалось упорное, ползущее шарканье. Гнев ядовитым приливом колыхался в моем сердце, и страшное, неудержимое желание щекотало мускулы, – желание обернуться и смачно, грузно вlepить пощечину в потное, рысёе лицо шпиона. Сдержанным, но свободным голосом я объяснял Яну преимущества бессарабских вин.

– В них, – сказал я, выразительно и авторитетно расширяя глаза, – есть скрытые прелести, доступные пониманию только в трезвом виде. К числу их надо отнести водянистую сухость и большое количество дубильной кислоты... Первое усиливает аппетит, второе укрепляет желудок. Правда, в венгерских и испанских винах больше поэзии, игры, нюансов... Но, уверяю вас, – после двух-трех бутылок демисека воображение переносит в широкие, солнечные степи, где смуглые полные руки красавиц-молдаванок плетут венки из виноградных листьев...

Ян криво усмехнулся и, расставив ноги, остановился у лотка с апельсинами. Пламенные глаза его устремились на красную бархатную поверхность плодов, позолоченных июльским солнцем. Он крякнул и сказал:

– Смерть люблю апельсины! Пусть мы будем буржуи и купим у этого славного малого десяток мандаринчиков...

– Пусть будет так!.. – согласился я таким мрачным тоном, как если бы дело шло о моей голове. – Да процветает российская мелкая торговля!

Коренастый ярославец глядел нам в глаза и, без сомнения, видел в них серебряные монеты, отныне принадлежащие ему. Он засуетился, рассыпавшись мелким бесом.

– Десяток энтих – три двугривенных, шестьдесят копеек! – предупредительно объяснил он. – Завернуть позволите? Хорошо-с!

Он взял с лотка белый новенький мешочек. В таком же точно пакете, только серого цвета, я нес свой чернослив, купленный по дороге. И вдруг мне стало завидно Яку. У него апельсины будут лежать в белой, как снег, бумажке, а у меня в серой и грязной! Решив сказать ему об этом, я предварительно случайно бросил взгляд в сторону профилей, прикрытых котелками, и был приятно изумлен их настойчивостью в деле изучения дамских корсетов, вывешенных за стеклом магазина. Тогда я дернул Яна за рукав и обиженно заметил:

– Дорогой мой! Не находите ли вы, что белый цвет бумаги режет глаза?

Ян, казалось, искренно удивился моему замечанию, потому что раза два-три смигнул, стараясь догадаться. Тогда я продолжал:

– От молодых ногтей и по сию пору я замечал, что белый цвет вредит зрению. По этой причине я всегда ношу свои покупки исключительно в бумаге серого цвета...

– Бедняга... – сказал Ян, пожимая плечами. – Вам вредно пить много бессарабского... Впрочем, для вас я готов уступить. Нет ли у вас серого мешочка?

Детина растерянно улыбнулся торопливой, угодливой улыбкой, долженствовавшей изображать почтение к фантазии барина, и мгновенно выдернул из-под кучи оберточной бумаги толстый серый пакет. Положив в него апельсины, он сказал:

– Милости просим, вашество! Ежели когда!.. Самые хорошие...

Мы пошли дальше, не оглядываясь, но я чувствовал сзади жадные, бегающие глаза, с точностью фотографических аппаратов отмечающие каждое наше движение. Вокруг нас, обгоняя, встречаясь и пересекая дорогу, проходили разные люди, но в шарканьи десятков ног неумолимо и упорно выделялись назойливые, как бег маятника, шаги соглядатаев. Нахальное, почти открытое преследование заставляло предполагать одно из двух: или близкую, неотвратимую опасность, или неопытность и халатность преследующих.

Как будто дразня и весело насмехаясь, извозчики вокруг наперерыв предлагали свои услуги. Соблазн был велик, но мы, мирные обыватели, потихоньку шли вперед, наслаждаясь солнцем, теплом и бодростью собственного, отдохнувшего за ночь тела. У бульвара, сбегавшего по наклонной плоскости вниз широкой, кудрявой аллеей, Ян вздохнул и сказал:

– Пойдемте бульваром, дружище. На улице становится жарко.

Мы свернули на сырой, утоптаный песок. Густые, прохладные тени кленов трепетали под ногами узорными, дрожащими пятнами. Впереди, в перспективе бульвара, ослепительно горели золотые луковичы монастыря. На скамейках сидели одинокие фигуры гуляющих. И вдруг навстречу нам, кокетливо повертывая плечиками, прошла очаровательная дамочка, брюнетка. Озабоченное выражение ее цветущего личика забавно противоречило пухлому, детскому рту. Восхищенный, я щелкнул пальцами и обернулся, проводив красавицу долгим, слюнявым взглядом. Но тут же ее стройный колеблющийся корпус заслонили два изящных, черных котелка, неутомимых, беспокойных и рысущих. Вздохнув, я посмотрел на Яна. Лицо его было по-прежнему до глупости спокойно, но тонкие, нервные губы слегка пожевывали, как бы раздумывая, что сказать. Бросив умиленный взгляд на купол монастыря, он произнес громким, растроганным голосом:

– В детстве я был набожен и таковым остался до сих пор. Когда я вижу светлые кресты божьего храма, бесконечное благоговение наполняет мою душу. Сегодня я слушал обедню в церкви Всех святых. Батюшка сказал сильную, прочувствованную речь о тщете всего мирского. Истинный христианин!..

Он перевел дух, и мы снова прислушались. Но песок упорно, неотступно хрустел сзади. И это не помогало! Религия оказывалась бессильна там, где преследовались высшие государственные цели. Я сразу понял тщету набожности и развернул перед Яном нараспашку всю глупину своего испорченного, развращенного сердца.

– Охота вам быть монахом! – сказал я тоном старого опытного кутилы. – Поверьте мне, что если в жизни и есть что хорошее – то это карты, вино... и девочки!..

И я пустился во все тяжкие, смакуя мерзости блюда всех видов и сортов. Начав с естественных, более или менее, отношений и подчеркнув в них остроту некоторых моментов, я готовился уже пуститься в изложение и защиту педерастии, как вдруг шляпа, плохо сидевшая на моей голове, упала и откатилась назад. Пользуясь счастливым случаем, я вернулся за ней, поднял и бросил внимательный взгляд в глубину аллеи. Они еще шли, усталые, лениво передвигая ноги, но уже настолько далеко, что, очевидно, уверенность их в нашей принадлежности к организации была сильно поколеблена моим восторженным гимном культу Венеры и Астарты.

Ян, измученный, с наслаждением опустил на первую попавшуюся скамейку. Я сел рядом с ним и прислонил свой пакет с черносливом к мешочку с апельсинами. Серая оберточная бумага тускло выделялась на черном фоне наших пальто, невинная и страшная в своей кажущейся незначительности.

Несколько секунд мы молчали, и затем Ян заговорил:

– Итак, товарищ, наступает день... Я совершенно спокоен и уверен в успехе. Ваш гостинец я немедленно отнесу к себе, а вы идите домой и позовите, пожалуйста, Евгению с братом. Пусть нас будет только четверо... Мне хочется покататься на лодке и посмотреть на их хорошие, дружеские лица... Так мне будет легче... Хорошо?

– Конечно, Ян. Вам необходимо рассеяться для того, чтобы завтра иметь возможность сосредоточиться...

– Вот именно... И положение интересное: нас будет четверо – двое не знают и не будут знать, а мы с вами знаем... Надеюсь, что скучно не будет. Только...

– Что?

– Ведь это, собственно говоря, полное отрицание всякой конспирации... Но я придумал: мы с вами переедем на тот берег, они приедут после... Вы приходите в семь часов к пристани у лесопильного завода... Возьмите вина, конфет... Я очень люблю раковые шейки...

– Чудесно, Ян! Когда стемнеет.

– Да... А что же вы им скажете?

– Ну! Мало ли что. Скажу, что вам нужно экстренно ехать, что ли... Вообще положитесь на меня.

– Спасибо!..

Он пожал мне руку и поднял глаза. Они горели, и цыганские скулы еще резче выступали на бледном лице. Затем Ян зевнул и задумался.

– Я тороплюсь, Ян! – сказал я. – Идите, пора... Для вас все готово...

– Сто против одного, что мне не придется этим воспользоваться... – ответил он, думая о чем-то. – Это была бы страшная редкость!

– Всякое бывает...

– Посмотрим...

Он встал, осторожно поднял один пакет и зашагал крупными решительными шагами в ту сторону, где сверкали золотые маковки монастыря. Я тоже поднялся, вышел с бульвара на тротуар улицы и, случайно оглянувшись, увидел пару неотвязных улиток, озлобленных на вселенную. Они медленно трусили за мной на некотором расстоянии. Ян, следовательно, ушел «чистый», и этого было достаточно, чтобы я развеселился. Затем мне пришло в голову, что некто, вероятно, очень желал бы, чтобы мой чернослив, захваченный Яном, оказался действительно, черносливом...

Но чудес не бывает. И тяжела рука гнева...

II

Полный, блестящий, бутафорский месяц поднялся на горизонте и посеребрил темную рябь воды. Неподвижная громада лесного берега бросила отражение, черное, как смола, в глубину пучины, и лодка медленно скользила в его тени, плавно дергаясь вперед от усилий тонких, гнущихся весел.

Я греб, Ян сидел у руля, лицом к берегу и медленно, задумчиво мигал, слушая песню. Сутуловатый и неподвижный, он, казалось, прирос к сиденью, тихо двигая руль левой рукой. Пели Евгения и брат ее Кирилл, долговязый, безусый юноша с круглой, стриженной головой и добродушно-саркастическими глазами. Песня-жалоба одиноко и торжественно плыла в речной тишине, и эхо ее умирало в уступах глинистого берега, скрытых мраком. В такт песне двигались и стучали весла в уключинах, отбрасывая назад тяжелую, булькающую воду. Девушка обвила косу вокруг шеи, и от темных волос еще резче выделялась белизна ее небольшого, тонкого лица. Глаза ее были задумчивы и печальны, как у всех, отмеченных печатью темного, неизвестного будущего. Свободно, без вибрации, голос ее звенел, рассекая густой, медный бас Кирилла. Простые, трогательные слова песни волновали и нежили:

Меж высоких хлебов затерялось
Небогатое наше село;
Горе горькое по свету шлялось
И на нас невзначай набрело.

Ох, беда приключилась страшная,
Мы такой не знавали вовек:
Как у нас, голова бесшабашная,
Застрелился чужой человек...

Река застыла, слушая красивую, грустную и страшную песню о жизни без света и силы. И сами они, певшие, казались не теми юношей и девушкой, какими я знал их, а совсем другими, особенными. И редкие тревожные ноты звучали в сердце в ответ на музыку голосов.

Девушка закашлялась и оборвала, кутаясь в темный пуховый платок. В полусвете молчаливо застывшей ночи она казалась воздушной и легкой. Еще секунду-другую дрожали одинокие басовые ноты и, стихнув, отлетели в пространство. Песня кончилась, и стало грустно, и было жаль молодых, горячих звуков, полных трепетной поэтической думы. И исчезло очарование. С реки потянуло холодом и сыростью. Уключины мерно скрипели и звякали, и так же мерно вторил им плеск подгребаемой воды.

– Пора ехать домой, господа почтенные, – сонно заявила Евгения, жалобно морщась и зябко пожимая плечами. – Я озябла. И вот вы увидите, что простужусь. Ян, поворачивайте!..

– А в самом деле?.. – подхватил Кирилл. – Я уж тоже напичкался поэзией... от сих и до сих. Дайте-ка я погребу, а вы отдохайте...

Я передал ему весла, и он, вытянув длинные ноги, быстро подался вперед и сильно повел руками в противоположные стороны. Вода забурлила под килем, лодка остановилась и, слегка колыхаясь, медленно повернула влево. Горный, кряжистый берег отступил назад и скрылся за нашей спиной. Прямо в лицо глянула холодная, мгlistая ширь водяной равнины, и лодка направилась к городскому, усеянному точками огней, берегу.

Я взглянул на Яна. Он сидел, сторбившись, наложив на румпель неподвижную руку. Тихий ветер, налетая сзади, слегка теребил его волосы. Утомленные и дремотные, все молчали. Ян начал свистать мазурку, притопывая каблуком. Девушка зажала уши.

– Ой, не свистите, ради бога! Терпеть не могу, кто свистит... На нервы действует. Ян досадливо мотнул головой.

– Что же можно? – спросил он, глядя в сторону.

– Все, что хотите, хоть купайтесь. Только свистать не смейте... Вот лучше расскажите нам что-нибудь!

– Что рассказывать! – неохотно уронил Ян. – Про других – не умею, про себя – не хочется. Да и нечего... Все жевано и пережевано...

– Отчего это стало вдруг всем скучно? – недовольно протянула девушка, оглядывая нас. – Какие же вы революционеры? Сидят и киснут, и нос на квинту... Возобновляйте ваш дар слова... ну!..

Она нетерпеливо топнула ногой, отчего лодка закачалась и приостановилась.

– Не балуй, Женька! – сказал Кирилл. – Спать захотела, – капризничаешь!

Глаза его с отеческой нежностью остановились на ее лице.

Опять наступило молчание, и снова уснул воздух, встревоженный звуками голосов. Нелепые и смешные мысли сверкали и гасли без всякого усилия, как будто рожденные бесшумным бегом ночи. Хотелось стать рыбою и скользить без дум и желаний в таинственной, холодной глубине или плыть без конца в лодке к морю и дальше, без конца, без цели, без усилий, слушая тишину...

Вдруг вопрос, странно-знакомый и чуждый, прогнал дремотное очарование ночи. И цель его была мне совершенно неизвестна. Возможно, что Яну просто захотелось поговорить.

Он спросил совершенно спокойно и просто:

– Кирилл! Что вы думаете о терроре?

– О терроре-е? – удивился Кирилл. – Да то же, надеюсь, что и вы. Программа у нас общая...

Ян ничего не сказал на это. Кирилл подождал с минуту и затем спросил:

– А вы почему об этом заговорили?

Ян ответил не сразу.

– Потому, – сказал он наконец как бы в раздумье растягивая слова, – что террор – ужас... А ужаса нет. Значит, и террора нет... А есть...

– Самый настоящий террор и есть! – насторожившись, задорно ответил Кирилл. – Конечно, в пределах возможного... А что же, по-вашему?

– Да так, пустяки... Спорт. Паники я не вижу... Где она? Сумейте нагнать панику на врагов. Это – все! Ужас – все!..

Кирилл насмешливо потянул носом.

– Надоело все это, знаете ли... – сказал он. – Даже и говорить не хочется. Все это уж взвешено тысячу раз... А спорить ради удовольствия – я не мастер. Да и к чему?

– Вы, Ян, страшно одбоки! – важно заметила девушка. – Вам бы в восьмидесятых годах жить... А пропаганда? Организация?..

Ян снисходительно улыбнулся углами губ.

– Слыхали. А знаете ли вы, что главное в революции? Ненависть! И если ее нет, то... и ничего нет. Если б каждый мог ненавидеть!.. Сама земля затрепетала бы от страха.

– Да он Марат известный! – захохотал Кирилл. – В ***ске его так и звали: «Маленький Марат». Ему все крови! Больше крови! Много крови... Кр-рови, Яго!.. Тигра лютая!

Каменное лицо Яна осталось совершенно равнодушным. Но через мгновение он живо повернулся всем корпусом и воскликнул с такой страстью, что даже я невольно насторожился, почуяв новые струны в этом, хорошо мне знакомом, сердце.

– Да! Пусть ужас вперит в них слепые, белые глаза!.. Я жестокость отрицаю... Но истребить, уничтожить врагов – необходимо! С корнем, навсегда вырвать их! Вспомните уроки истории... Совсем, до одного, навсегда, без остатка, без претендентов! Чтобы ни одна капля враж-

дебной крови не стучала в жилах народа. Вот что – революция! А не печатанье бумажек. Чтобы ни один уличный фонарь не остался без украшения!..

Это было сказано с такой гордостью и сознанием правды, что мы не сразу нашли, что сказать. Да и не хотелось. Мы думали иначе. А он думал иначе, чем мы. Это было просто и не требовало споров.

Евгения подняла брови и долгим, всматривающимся взглядом посмотрела на Яна.

– Вы какой-то Тамерлан в миниатюре, господь вас ведаёт... А ведь, знаете, вы на меня даже уныние нагнали... Такие словеса может диктовать только полное отчаяние... А вы это серьезно?

– Да.

Лицо Яна еще раз вспыхнуло острой мукой и потухло, окаменев в задумчивости. Только черные глаза беспокойно блеснули в орбитах. Я попытался сгладить впечатление.

– Я вас вполне понимаю, Ян... – сказал я. – У вас слишком накопилось на душе!..

Он посмотрел на меня и ничего не ответил. В лице его, как мне показалось, мелькнула тень сожаления о своей выходке, нарушившей спокойный, красивый отдых прогулки.

– А помните, Ян, – перешла девушка в другой тон, – как вы приезжали сюда год тому назад? Вы были такой... как дитя. И страшно восставали против всякой полемики, а также и... против террора, как системы?

– А помните, Евгения Александровна, – в тон ей ответил Ян, улыбнувшись, – как двадцать лет тому назад вы лежали в кровати у мамы? Одной рукой вы засовывали свою голеньку, розовую ножку в ротик, а другой держали папашу за усы? И восставали против пеленок и манной каши...

Девушка покраснела и задумчиво рассмеялась. Кирилл громко расхохотался, очевидно, живо представив себе картину, нарисованную Яном.

– А ведь правда, Женька... – заговорил он. – Как подумаешь, что мы когда-то бегали без штанов... Даже странно. Да, в горниле жизни куется человек! – патетически добавил он. И вдруг заорал во все горло:

Плыви-и мой чо-о-олн!!.

На ближайших пристанях всполошились собаки и беспомощно залаяли сонными, обиженными голосами.

– С ума ты сошел, Кирька!.. – прикрикнула, смеясь, девушка. – Тоже, – взрослый считаешься!..

Кирилл внезапно впал в угрюмость и заработал сильнее веслами. Ян круто поворотил руль, и лодка, скользя под толстыми якорными цепями барок, уткнулась в берег, освещенный редкими огнями ночных фонарей.

Заспанный парень-лодочник принял нашу лодку, и мы поднялись на берег к городскому саду. Всем смертельно хотелось спать. Девушка подошла к Яну.

– Так вы, значит, завтра едете?.. – спросила она, широко раскрывая полусонные глаза. – Скоро! Что же вы это так?

– Надобность явилась... И так как я вас больше не увижу, то позвольте пожелать вам всего лучшего!..

– Вот пустяки! Мы еще увидимся с вами, Ян. Я этого желаю... Слышите?

– Слышать-то слышу... Ну, до свидания, идите бай-бай...

– До свидания.

Она подала ему руку, и он задержал ее на секунду в своей тонкой, смуглой руке. Девушка молча посмотрела на него и что-то соображающее мелькнуло в ее мягких чертах. Я тоже пожал Яну руку, прощаясь с ним, и – сто против одного – навсегда. Он крепко, до боли впился в

мою сильными, жилистыми пальцами. Они были холодны и не дрожали. Кирилл поцеловался с ним и долго, крепко тискал его руки в своих. Глаза его из насмешливых и пытающих вдруг сделались влажными и добрыми.

– Ну, дорогой Ян, прощайте, прощайте! Не забывайте нас! Ну, всего хорошего, идите!.. Вот проклятая жизнь – нет даже утешения в квартире попрощаться! Ну, прощайте!..

И мы разошлись в разные стороны.

III

Я опустил плотные, парусинные шторы и зажег лампу. Мне не ходилось, не сиделось и не стоялось. Нетерпеливый, ноющий зуд сжигал тело, и виски ломило от напряженного ожидания. Ни раньше, ни после, – никогда мне не случалось так волноваться, как в этот день.

Лампа, одетая в махровый розовый абажур, уютно озаряла центр комнаты, оставляя углы в тени. Я ходил взад и вперед, сдерживая нервную, судорожную зевоту, и мне казалось, что время остановилось и не двинется вперед больше ни на йоту. И в такт моим шагам прыгал взад и вперед часовой маятник, равнодушно и бегло постукивая, как человек, притопывающий ногой.

Я развернул газету и побежал глазами по черным рельсам строк, но в их глубине замелькали освещенные и шумные городские улицы и в них – фигура Яна. Он шел тихо, осторожно останавливаясь и высматривая.

Тогда я лег на кровать и закрыл глаза. Розоватый свет лампы пронизывал веки, одевая глаза светлой тьмой. Огненные точки и узоры ползли в ней, превращаясь в буквы, цифры, фигуры зверей Апокалипсиса.

Вечер тянулся, как задерганная ломовая кляча. Каждую секунду, короткую и длинную в своей ужасной определенности, я чувствовал в полном объеме, всем аппаратом сознания – себя, лежащего ничком и ждущего, до боли в черепе, до звона в ушах. Я лежал, боясь пошевелиться, вытянуться, чтобы случайным шумом или шорохом не заглушить звуки прихода Яна. Я ждал его, хотел увидеть снова и уже заранее торжествовал при мысли, что он может не прийти... Ожидание победы боролось где-то далеко, внутри, в тайниках сознания с тяжестью больной, бьющей тоски.

Она росла и крепла, и тяжелые, кровавые волны стучали в сердце, тесня дыхание. Вверху, над моей головой, потолок содрогался от топота ног и неслись глухие, полузадушенные звуки рояля, наигрывающие кек-уок. Это упражнялось по вечерам зеленое потомство плодovitой офицерской семьи. На секунду внимание остановилось, прикованное стуком и музыкой. Возня наверху усиливалась. Белая пыль штукатурки, отделяясь от потолка, кружилась в воздухе. Отяжелевший мозг торопливо хватался за обрывки аккордов. Старинные кресла, обитые коричневым штофом, хвастливо упирались вычурными, изогнутыми ручками в круглые сиденья, как спесивые купцы, довольные и глупые. Пузатый ореховый комод стоял в раздумьи. Письменный стол опустился на четвереньки, выпятив широкую, плоскую спину, уставленную фарфором и бронзой. Лица людей, изображенных на картинах, окаменели, прислушиваясь к светлой, гнетущей тишине ожидания. И казалось, что все вокруг притаилось и хитро, молча ожидает прихода Яна. И когда он войдет – все оживет и бросится к нему, срываясь с углов и стен, столов, рам и окон...

И вдруг тоска упала, ушла и растаяла. Наверху бешено и глухо загудела мазурка, но топот стихал. Голова сделалась неслышной и легкой, как пустой гуттаперчевый шар. И я встал с кровати, твердо уверенный в том, что Ян идет и сейчас войдет в комнату.

IV

Едва он вошел, как я бросился ему навстречу. Ян остановился в дверях, измученный и слабый, торжественно смотря мне прямо в глаза. Одежда его была в порядке, и это обстоятельство не казалось мне странным и удивительным. Он сделал, и не только несмотря на это, а вопреки этому – уцелел. Все остальное было пустяки. Раз совершилось чудо – одежда имела право остаться чистенькой. Я держал его за руки, выше локтей, и изо всей силы тряс их, захлебываясь словами. Они кипели в горле, теснясь и отталкивая друг друга.

Ян отстранил меня легко, как ребенка, плавным движением руки и, подойдя к столу, сел. Нельзя сказать, чтобы он был очень бледен. Только волосы, прилипшие на лбу под фуражкой, и тонкая жила, вздрагивающая на шее, выдавали его усталость и возбуждение. Весь он казался легким, тонким и маленьким в своем новеньком, с иголки, офицерском мундире.

Первое, что я увидел, – это его улыбку, сокрушенную и мягкую. Он сидел боком к столу, вытянув ноги и положив руки на колени, ладонями вниз. Мы были одни, и никто не мог слышать нашего разговора. Но я склонился к нему и сказал тихим вздрагивающим шепотом, как если бы нас окружала целая сеть глаз и ушей:

– Вот как?... Славно...

Улыбка исчезла с его лица. Он задвигался на стуле и так же тихо ответил:

– Сегодня ничего не было. Значит, придется завтра...

Чудо исчезло, осталось недоумение. Я сразу устал, как будто только что выпустил из рук тяжелый камень.

И между нами произошел следующий, тихий и быстрый разговор:

– Он не был, Ян?

– Был.

– Он ехал, да?

– В карете. Я видел его.

– А потом?

– Он уехал.

– Почему?

– Я ушел.

– Почему же, почему, Ян? Ян!..

Он зажмурился, крепко стиснул зубы и тихо, отдельно роняя слова, ответил:

– Он был не один... Там сидела женщина и еще кто-то... Не то мальчик, не то девочка... Длинные локоны и большие, капризные глазки... Ну...

Он умолк и открыл глаза. Они шурились от яркого света лампы. Ян прикрыл их рукой и сказал резким, равнодушным голосом:

– Нельзя ли послать за пивом? У меня что-то вроде озноба...

Я молчал, и странная, жуткая, полная мысли тишина сковала дыхание. Ян, видимо, сошелся поднять глаза. Одна его рука смущенно и неловко шарил в кармане, отыскивая мелочь, другая лежала на столе и пальцы ее заметно дрожали.

Оглушительный, потрясающий звон разбил вдребезги тишину. Это ударил тихий, мелодичный бой стальных часов...

Когда на следующий день вылетели сотни оконных стекол и город зашумел, как пчелиный улей, я догадался, что на этот раз – он был один...

Кирпич и музыка

I

Звали его – Евстигней, и весь он был такой же растрепанный, как имя, которое носил: кудластый, черный и злой. Кудласт и грязен он был оттого, что причесывался и умывался крайне редко, больше по воскресеньям; когда же парни дразнили его «галахом» и «зимогором», он лениво объяснял им что «медведь не умывается и так живет». Уверенность в том, что медведь может жить, не умываясь, в связи с тучами сажи и копоти, покрывавшей его во время работы у доменных печей, приводила к тому, что Евстигнея узнавали уже издали, за полверсты, вследствие оригинальной, но мрачной окраски физиономии. Определить, где кончались его волосы и где начинался картуз, едва ли бы мог он сам: то и другое было одинаково пропитано сажей, пылью и салом.

Себя он считал добрым, хотя мнение татар, катавших руду на вагонетках и живших с ним вместе в дымной, бревенчатой казарме, было на этот счет другое. Скуластые уфимские «князья», голодом и неурожаем брошенные на заработки в уральский лес, всегда враждебно смотрели на Евстигнея и всячески препятствовали ему варить свинину на одной с ними плите, где, в жестяных котелках, пенился и кипел неизменный татарский «махан». Это, впрочем, не мешало Евстигнею регулярно каждый день ставить на огонь котелок с варевом, запрещенным Кораном. Татары морщились и ругались, но хладнокровие, в трезвом виде, редко изменяло Евстигнею.

– Кончал твоя башка, Стигней! – говорили ему. – Пропадешь, как собака!

Евстигней обыкновенно молчал и курил, сильно затягиваясь. Татарин, ворчавший на него, садился на нары, болтал ногами и улыбался тяжелой, нехорошей улыбкой.

– Зачем так делил? – снова начинал противник Евстигнея, часто и хрипло дыша. – Мой закон такой – твой закон другой... Чего хочешь?

Евстигней мешал в котелке и, наконец, говорил:

– Жрать я хочу, знаком, и боле никаких... Вопрос: кто ты? Ответ: арбуз. А это ты, знаком, слышал: Алла мулла чигирит в углу?

– Анна секим! – вскрикивал татарин. Потом ругался русской и татарской бранью, плевался и уходил. Евстигней доканчивал варку, садился на нары, поджав ноги по-татарски, и долго, жадно ел горячее, жирное мясо. Потом сморкался в рукав и шел к домне.

Впрочем, он и сам не знал – зол он или добр. По воскресеньям, пьяный, сидя в трактире среди знакомых хищников и «зимогоров», он громко икал, обливаясь водкой, нелепо тарачил брови и говорил:

– Я – добер! Я – страсть добер! В сопатку, к примеру сказать, я тебе не вдарю – ты не можешь стерпеть... Другие, которые пером (нож) обходятся... Этого я дозволить, опять же, не могу... Если ты могишь совладать – завсегда в душу норови, пока хрип даст...

Пьяный, к вечеру он делался страшен, бил посуду, бил кулаками по столу, кричал и дрался. Его били, и он бил, захлебываясь, долго и грузно опуская огромные жилистые кулаки в тело противника. Когда тот «давал хрип», то есть попросту делался полумертвой, окровавленной массой, Евстигней подымался и хохотал, а потом снова пил и кричал диким, нелепым голосом.

Ночью, когда все затихало, и в спертom, клейком воздухе казармы прели вонючие портянки и лапти; когда смутные, больные звуки стонали в закопченных, бревенчатых стенах, рожденные горами тел, разбитых сном и усталостью, Евстигней вскакивал, ругался, быстро-быстро бормоча что-то, затем бессильно опускал голову, скреб волосы руками и снова валился

на твердые, гладкие доски. А когда приходил час ночной смены, и его будили сонные, торопливые руки рабочих, – подымался, долго чесал за пазухой и шел, огромный, дремлющий, туда, где дышали пламенем бессонные, черные печи, похожие на сказочных драконов, увязших в сырой, плотной земле.

II

Наступал праздник; двенадесятый или просто воскресный день. Евстигней просыпался, брал железный ковш, шел на двор, черпал воду из водосточной кадки и, плеснув изо рта на ладонь, осторожно размазывал грязь на лице, всегда оставляя сухими черную шею и уши. И тогда можно было разглядеть, что он молод, крепок и смугл, хотя его широкому, каменному лицу с одинаковой вероятностью хотелось дать и двадцать и тридцать лет. Потом надевал городской, обшмыганный пиджак, тяжелые, «приисковские» сапоги с подковами и шел, по его собственному удачному выражению – «гулять».

«Гулянье» происходило всегда очень нехитро, скучно и заключалось в следующем: Евстигней садился на крыльце трактира, рядом с каким-нибудь мужиком, молчаливо грызущим семечки, и начинал ругаться со всеми, кто только шел мимо. Шла баба – он ругался; шли парни – он задевал их, смеясь их ругательствам, и ругался сам, лениво, назойливо. Он был силен и зол, и его боялись, а пьяного, поймав где-нибудь на свалке, – молча и сосредоточенно били. И он бил, а однажды проломил доской голову забойщику с соседнего прииска; забойщик умер через месяц, выругав перед смертью Евстигнея.

– Стой, ядреная, стой! – кричал Евстигней с крыльца какой-нибудь молоденькой, востроглазой бабенке в ярком цветном платке. – Стой! Куда прешь!

– Вот пса посадили, слава те господи! – отвечала, вздыхая баба. – Хошь вино-то цело будет... Лай, лай, собачья утроба!..

– Куда те прет? – кричал Евстигней. – В зоб-то позвони, эй! слышь? Зобари проклятые...

– Лай, лай – дам хлеба каравай! – отругивалась баба, оборачиваясь на ходу. – Зимогор паршивый! Галах!

– Валял я тебя с сосны, за три версты, – хохотал Евстигней. – Зоб-то подыми!..

Мужик, грызущий семечки, или одобрительно ухмылялся даровому представлению, или говорил сонным, изнемогающим голосом:

– Охальник ты, пра... Мотри – парни те вышибут дно.

– Ого-го! – Евстигней тряс кулаком. – Утопнут!..

Если в поле его зрения появлялась заводская молодежь, одетая по-праздничному, с гармониями в руках – он набирал воздуха, тужился и начинал петь умышленно гнусавым, пискливым голосом:

Ма-а-мынька-а р-роди-мая-а,
Свишша-а неугасимая-а!..
Когда-а сви-шша-а по-га-сы-нет,
Тог-да д`милка при-ла-сы-не-ет!..

И кричал:

– Чалдон! Сопли где оставил?

Парни угрюмо, молча проходили, продолжая играть. И только на повороте улицы кто-нибудь из них оборачивался и, заломив шапку, говорил спокойным, зловещим голосом:

– Ладно!

Улица пустела, солнце подымалось выше и нестерпимо жгло, а Евстигней сидел и смотрел вокруг злыми, скучающими глазами. Затем подымался, шел в трактир и, долго сидя в сумрачной, отдающей спиртом прохладе свежеобтесанных стен, пил водку, курил и бушевал.

III

Был вечер, и было тихо, жарко, и душно.

Багровый сумрак покрыл горы. Они таяли, тускнея вдали серо-зелеными, пышными волнами, как огромные шапки невидимых, подземных великанов. На дворе, где стояла казарма, сидели татары и громко, пронзительно пели резкими, гортанными голосами. Увлечшись и краснея от напряжения, смотря и ничего не видя, они вздрагивали, надрываясь, и в вопле их, монотонном, как скрип колеса, слышалось ржание табунов, шум степного ветра и неприятный верблужий крик.

Пожинав, сытый и уже слегка пьяный, Евстигней вышел на двор, долго, неподвижно слушал дикие, жалобные звуки, и затем, осторожно ступая босыми ногами в колючей, холодной от росы траве, подошел к поющим. Те мельком взглянули на него, продолжая петь все громче, быстрее и жалобнее. Евстигней цыркнул слюной в сторону и сказал:

– Корова вот тоже поет. Слышь, князь? – Молодой татарин, бледный, с добродушным выражением черных, глубоко запавших глаз, обернулся, улыбнулся Евстигнею бессознательной, мгновенной улыбкой и снова взвыл тонким жалобным воплем. Евстигней сел на траву и закричал:

– Эй, вей-вей-ве-е! И-ий-вае-вае-у-у! Что вы кишки тянете из человека? Эй?!

Пение неохотно оборвалось, и татары взглянули на неприятеля молчаливо-злыми, сосредоточенными глазами. Прошло несколько мгновений, как будто они колебались: рассердиться ли на этого чужого, мешающего им человека или обратить в шутку его слова. Наконец один из них, пожилой, толстый, с коричневым лицом и черной тюбетейкой на голове, громко сказал:

– Ступай себе – чего хочешь? Не любишь – сам пой. Добром говорю.

– Христом богом прошу! – не унимался Евстигней, оскаливая зубы и притворно кланяясь. – Живот разболелся, как от махана. Одна была у волка песня – и ту...

Он не договорил, потому что вдруг встал маленький, молодой, почти еще совсем мальчик и близко в упор подошел к Евстигнею. Татарин тяжело дышал и закрывал глаза, а когда открывал их, лицо его пестрело красными и бледными пятнами. Он шумно вздохнул и сказал:

– Стигней, моя терпел! Месяц терпел, два терпел! Ступай!

Остальные молчали и враждебно, с холодным любопытством ожидали исхода столкновения. Евстигней вскочил, как ошпаренный, и выругался:

– Анан секим! Ты што, – бритая посуда?!

– Слушай, Стигней! – продолжал татарин гортанным, вздрагивающим голосом и побледнел еще больше. Глаза его сузились, под скулами выступили желваки. – Слушай, Стигней: я терпел, мольчал, долга мольчал... Ты знай: богом тебя клянусь, – пусть я помирал, как собака... Пусть я матери своей не увижу – если я тебя тут на месте не кончал... Слыхал? Ступай, Стигней, уходи...

Узкий, острый нож блеснул в его руках, и глаза вспыхнули спокойной, беспощадной жестокостью. Евстигней смотрел на него, соображал – и вдруг почувствовал, как быстро упало, а потом бешено заколотилось сердце, выгнав на лицо мелкий, холодный пот. Он осунулся и тихо, оглядываясь, отошел. Татарин, весь дрожа, сел в кружок, и снова скрипучий, тоскливый мотив запрыгал в тишине вечера.

IV

Евстигней вышел со двора и часто, тяжело отдуваясь, обогнул забор, где за казармой чернел густой таинственный лес. Злоба и испуг еще чередовались в нем, но он скоро успокоился и, шагая по тропинке среди частого мелкого кедровника, думал о том, какую пакость можно устроить татарину в отместку за его угрозу. Но как-то ничего не выходило и хотелось думать не об Ахметке и его ноже, а о влажном, тихом сумраке близкой ночи. Но и здесь мысли вились какие-то нескладные и сумбурные, вроде того, что вот стоит уродливое, корявое дерево, а за ним черно; или – что до получки еще далеко, а денег мало, и в долг перестали верить.

Тьма совсем уже вошла в чащу, и становилось прохладно. Со стороны завода вставал густой, дышащий шум печей, звяканье железа, бранчливые скучные выкрики. Тропа вела кверху, на подъем лесного пригорка, круто извиваясь между стволами и кустарником. Кедровая хвоя трогала Евстигнею за лицо, а он бесцельно шел, и казалось ему, что мрак, густеющий впереди, – это татарин, отступающий задом, по мере того, как он, Евстигней, грудью идет и надвигается на него. Пугливый шорох и плавный шепот вершин таяли в вышине. Небо еще сквозило вверху синими, узорными пятнами, но скоро и оно потемнело, ушло выше, а потом пропало совсем. Стало черно, сыро и холодно.

И вдруг, откуда-то и, как показалось Евстигнею со всех сторон, упали в тишину и весело разбежались мягкие, серебряные колокольчики. Лес насторожился. Колокольчики стихли и снова перебежали в чаще мягким, переливчатым звоном. Они долго плакали, улыбаясь, а за ними вырос низкий, певучий звон и похоронил их (снова наступило молчание, и снова заговорили звуки. Торжественно-спокойные, кроткие, они ширились, уходя в вышину и, снова возвращаясь на землю, звенели и прыгали. Опять засмеялись и заплакали милые, переливчатые колокольчики, а их обнял густой звон, и так, обнявшись, они дрожали и плыли. Казалось, что разговаривают двое, мужчина и девушка, и что одна смеется и жалуется, а другой тихо и торжественно утешает.

Евстигней остановился, прислушался, подняв голову, и быстро пошел в направлении звуков, громче и ближе летевших к нему навстречу. Ради сокращения времени, он свернул с тропы и теперь грудью, напролом, шагал в гору, ломая кусты и вытянув вперед руки. Запыхавшись, мокрый от росы, он выбрался, наконец, на опушку, перевел дух и прислушался.

Это была широкая, темная поляна, и на ней, смутно белея во мраке, стоял новый, большой дом «управителя», как зовут обыкновенно управляющих на Урале. «Управителя» все считали почему-то «французом», хоть он был чисто русский, и имя носил самое русское: Иван Иванович. Окна в доме горели, открытые настежь, и из них выбегал широкий, желтый свет, озаряя густую, темную траву и низенький, сквозной палисад. В окнах виднелась светлая, просторная внутренность помещения, мебель и фигуры людей, ходивших там. Кто-то играл на рояле, но звуки казались теперь не пугливыми и грустными, как в лесу, где они бродили затерянные, тихие, а смелыми и спокойными, как громкая, хоровая песня.

Евстигней подошел к дому и стал смотреть, облокотившись на колья палисада. Сбоку, недалеко от себя, у стены, разделявшей два окна, он видел белые, прыгающие руки тоненькой женщины в красивом, голубом платье, с высокой прической черных волос и бледным, детским лицом. Она остановилась, перевела руки в другую сторону и снова, как в лесу, засмеялась и разбежались колокольчики, прыгая из окон, а их догнал густой, певучий звон и, обнявшись, поплыл в темноту, к лесу.

– Ишь ты! – сказал Евстигней и, переступив босыми ногами, снова стал смотреть на проворные, тонкие руки женщины. Она все играла, и казалось, что от этих бегающих рук растет и ширится небо, вздыхая, колышется воздух и ближе придвинулся лес. Евстигней навалился грудью на частокол, но дерево треснуло и заскрипело, отчего звуки сразу угасли, как пламя

потушенной свечи, а к окну приблизилась невысокая, тонкая фигура, ставшая загадочной и черной от темноты, висящей снаружи. Лица ее не было видно, но казалось, что оно смотрит тревожно и вопросительно. С минуту продолжалось молчание, и затем тихий, неуверенный голос спросил:

– Кто там? Тут есть кто-нибудь?

Евстигней снял шапку, мучительно покраснел и выступил в пятно света, падавшее из окна. Женщина повернула голову, и теперь было видно ее лицо, тонкое, капризное, с широко открытыми глазами.

Евстигней откашлялся и сказал:

– Так что – проходя мимо... Мы здешние, с заводу...

– Что вам? – спросила женщина громче и тревожнее. – Кто такой?.. Что нужно?

– Я с заводу, – повторил Евстигней, ослабляясь. – Проходя мимо...

– Ну, что же? – переспросила она, уже несколько тише и спокойнее. – Идите, любезный, с богом.

– Это вы – на фартупьяне? – набрался смелости Евстигней. – Очень, значит, – того... Я... проходя мимо...

Женщина пристально смотрела, с тревожным любопытством разглядывая огромную, всклокоченную фигуру, как смотрят на интересное, но противное насекомое. Потом у нее дрогнули губы, улынулись глаза, запрыгал подбородок и вдруг, откинув голову, она залилась звонким, неудержимым хохотом. Евстигней смотрел на нее, мигая растерянными и тупо, и неожиданно захохотал сам, радуясь неизвестно чему. От смеха заухал и насторожился мрак. Было сыро и холодно.

Она перестала смеяться, все еще вздрагивая губами, перестал смеяться и Евстигней, не сводя глаз с ее темной, тонкой фигуры. Женщина поправила волосы и сказала:

– Так, как же... Проходя мимо?

– То есть, – Евстигней развел руками, – я, значит, шел... Слышу это...

– Ступай, любезный, – сказала женщина. – Ночью нельзя шляться...

Евстигней замолчал и переступил с ноги на ногу. Окно захлопнулось. Он постоял еще немного, разглядывая большой новый дом «француза» Ивана Иваныча, и пошел спать, а дорогой видел светлые комнаты, освещенную траву, и думал, что лучше всего будет, если он испортит татарину его новый жестяной чайник. Потом вспомнил музыку и остановился: показалось, что где-то далеко, в самой глубине леса – поет и звенит. Он прислушался, но все было темно, сыро и тихо. Слабо шурша, падали шишки, вздыхая, шумел лес.

V

Следующий день был воскресный. Когда наступало воскресенье или еще что-нибудь, Евстигней надевал сапоги, вместо лаптей, шел в село и напивался. Пьяному ему всегда было сперва ужасно приятно и весело, жизнь казалась легкой и молодцеватой, а потом делалось грустно, тошнило и хотелось или спать, или драться.

Жар спадал, но воздух был еще ярок, душен и зноен. С утра Евстигней успел побывать везде: в церкви, откуда, потолкавшись минут десять среди поддевок, плисовых штанов и красных бабьих платков, вышел, задремавший и оглушенный ладаном, у забойщиков с соседнего прииска, где шла игра в короли и шестьдесят шесть, и, наконец, в лавке, где долго разглядывал товары, купив, неизвестно зачем, фунт засохших, крашенных пряников. Скука одолевала его. Послonyaвшись еще по улицам и запыхавшись добежав свои тяжелые подкованные сапоги, Евстигней пошел в трактир, лениво переругиваясь по дороге с девками и заводскими парнями, сидевшими на лавочках. Он был уже достаточно пьян, но держался еще бодро и уверенно, стараясь равномерно ступать свинцовыми, непослушными ногами. Рубаха его промокла до нитки горячим клейким потом и липла к спине, раздражая тело. Пот катился и по лицу, горящему, красному, мешаясь с грязью. Добравшись до трактира, Евстигней облегченно вздохнул и отворил дверь.

Здесь было сумрачно, пахло пивом и кислой капустой. У стен за маленькими, грязными столами сидели посетители, пили, ели, целовались, стучали и быстрыми, возбужденными головами разговаривали наперерыв, не слушая друг друга. Сизый туман колебался вверху, касаясь голов сидящих неясными зыбкими очертаниями. В углу хором, нестройно и пьяно пели «Ермака».

Евстигней остановился посредине помещения, поворачивая голову и тоскливо блуждая глазами. Сам он плохо понимал, чего ему хочется – не то сесть на пол и не двигаться, не то разговаривать, не то выпить еще так, чтобы все зашаталось и завертелось вокруг, одевая последние крохи сознания тяжелым, черным угаром. Низенький мужик в новом картузе стоял перед ним и, беспрестанно потягивая козырек, что-то говорил, сгибаясь от смеха.

– Как он – на яво!.. – прыгали в ушах громкие, икающие слова, обращенные, по-видимому, к нему, Евстигнею. – Ты, грит, сына своо куда девал? Снохач ты! А он-то, милая душа, без портов. Трусится... Ты сякая, ты такая... Не-ет! Стой! По какому праву? Где в законе указание есть?

– Го-го! – гоготал Евстигней. – Без портов? На что лучше.

– Как он – на... яво, то-ись! Пшел, хрен! Ха-ха-ха! Вот ведь что антиресно!

Низенький мужик в картузе куда-то исчез, а в стороне послышались слова: «Как он – на яво... Вот ведь!»

Черный квадратный столик, за который уселся Евстигней, был пуст. Он потребовал водки, соленых грибов, налил в пузатый граненый стаканчик и выпил. Вино обожгло грудь, захватило дыхание. Как будто стало светлее. Он налил еще и еще, медленно вытер усы и уставился в стену тяжелым, бессильным взглядом.

Кто-то сел рядом – один, другой. Евстигней что-то спрашивал, рассудительно и толково, но не зная что; ему отвечали и хлопали его по плечу. Принесли еще водки, и все качалось кругом и вздрагивало, темное, мерзкое. Вспыхнул огонь. Трактир суживался, растягивался, и тогда Евстигнею казалось, что лица сидящих перед ним где-то далеко мелькают и прыгают желтыми бледными кругами, а на кругах блестят точки-глаза. Потом стали кричать, икая и ласково переругиваясь скверной бранью, и опять Евстигней не знал, что кричат и зачем ругаются, хотя ругался сам и смеялся, когда смеялись другие. И от смеха становилось еще горче, тошнее, и все тянулось изнутри его мутными, зелеными волнами.

Крик и шум усиливался, рос, бил в голову, звенел в ушах. Пели громко, нестройно, пьяно, и все пело вокруг, плясали стены; потолок то падал вниз, то уходил вверх, и тогда качалась земля. Вдруг Евстигней приподнялся, подпер голову кулаками и с трудом огляделся вокруг. Потом открыл рот и начал кричать долгим пронзительным криком:

– У-ы-ы! У-ы-ы! У-ы-ы!

Кто-то тряс его за плечо, кто-то сказал:

– Нажрался, сопля.

– А ты – татарская морда! – заявил Евстигней, смотря в угол. – Я нажрался... а ты, гололобый арбуз, м-мать твою растак!.. – И вдруг прилив бешеной тоскливой злобы вошел в него и растерзал душу. Он встал, покачнулся и наотмашь ударил в сторону. Хрястнуло что-то мягкое, кто-то ахнул и злобно вскрикнул, чем-то тяжелым ударили сзади, и больно занял череп. Кто-то бил его, он бил кого-то, потом земля ушла из-под ног, и тело, ноющее от ударов, поднялось и пошло, бессильное, тяжелое. Кто-то тащил его, и он кого-то тащил, упираясь и захлебываясь криком и руганью. Потом хлопнула дверь, стало сыро, темно и холодно. Ветер пахнул в лицо; застучали колеса. Евстигней медленно поднялся и тихо, шатаясь и держась за голову, пошел прочь.

VI

На воздухе дышалось легче, и хмельной угар понемногу выходил, но все еще было смутно и тяжело. Сперва ноги ступали в мягкой пыли, холодной от свежести вечера, потом зашумела трава, и густая сырость за клубилась вокруг. Жалобно пели комары, навстречу шли кусты, черные, строгие, как тишина. Евстигней все шел, изредка спотыкался, останавливался и затем снова устремлялся вперед, икая и размахивая руками. Ему было немного жутко, казалось, что вот вдруг растает земля, мрак повиснет над пропастью, и он, Евстигней, упадет туда в холодную, черную бездну, и никто, никто не услышит его крика. Иногда дерево вставало перед ним, невидимое; он обнимал его, ругался и опять двигался, кряхтя, медленным, черепашьям шагом. Ему казалось, что он забыл что-то и должен отыскать непременно сейчас, иначе придет татарин и зарежет его или прибежит низенький мужик в картузе, расскажет про снохача и ударит. Беспokoйно оглядываясь вокруг, он шел в темноте и бормотал:

– С-с ножом? Я-те дам нож! Махан проклятый!

Иногда чудилось, что кто-то бежит в кустах, невидимый, мохнатый, грозный и дышит теплым, сырым паром. Евстигней вздрагивал, торопливо вытягивал руки, останавливался, слушая смутный, далекий шорох, и снова двигался, с трудом, неловкими, пьяными движениями продирая кусты. Когда же впереди блеснул огонек и расступился лес – он удивился и прислушался: ему показалось, что где-то поет и переливается тонкий, протяжный звон. Но все молчало. Лес ронял шишки, гудел и думал.

Теперь были освещены два окна, а третье, откуда вчера Евстигнею вежливо предложили уйти – тонуло в мраке и казалось пустым, черным местом. В окнах сверкала мебель, картины, висающие на стенах, и светлые, пестрые обои. Евстигней подумал, постоял немного, и, как вчера, тихими, крадущимися шагами перешел от опушки к палисаду. Сердце ударило тяжело, звонко, и от этого зазвенела тишина, готовая крикнуть. Окно загадочно чернело, открытое настежь, а в глубине его тянулась узкая, слабая полоска света из дверей, притворенных в соседнюю комнату.

Он стоял долго, облокотившись о палисад, решительно ничего не думая, сплевывая спиртную горечь, и ему было скучно и жутко. Где-то в лесу поплыли слабые отзвуки голосов и, едва родившись, умерли. Вдруг Евстигней вздрогнул и встрепенулся: прямо из окна крикнули сердитым, раздраженным голосом:

– Кто там?!

– Эт-то я, – опомнившись, так же громко сказал Евстигней пьяными, непослушными губами. – Потому, к-как, я всеконечно пьян и не в состоянии... Предоставьте, значит, тово... Проходя мимо.

Он прислушался, грузно дыша и чувствуя, как нечто тяжелое, полное дрожи, растет внутри, готовое залить слабый отблеск хмельной мысли угаром слепой, холодной ярости. Секунды две таилось молчание, но казалось оно долгим, как ночь. И вслед за этим в глубине комнаты крикнул дрожащий от испуга женский голос; тоскливое, острое раздражение слышалось в нем:

– Коля! Да что же это такое? Тут бог знает кто шляется по ночам! Коля!

Дверь в соседнюю, блестящую полоской света комнату распахнулась. Из мрака выступили мебель, стены и неясная, тонкая фигура женщины. Евстигней крикнул, быстро нагнулся и выпрямился. Кирпич был в его руке. Он размахнулся, с силой откинувшись назад, и стекла с звоном и дребезгом брызнули во все стороны.

– Стерва! – взревел Евстигней. – Стерва! Мать твою в душу, в кости, в тряпки, в надгробное рыданье, в гробовую плиту растак, перетак!

Лес ожил и ответил: «Гау-гау-гау!»

– Стервы! – крикнул еще раз Евстигней и вдруг, согнувшись, пустился бежать. Деревья мчались ему навстречу, цепкая трава хватала за ноги, кусты плотными рядами вставали впереди. А когда совсем уже не стало сил бежать и подкосились, задрожав, ноги – сел, потом лег на холодную, мшистую траву и часто, быстро задышал, широко раскрывая рот.

– Стерва, сукина дочь! – сказал он, прислушиваясь к своему хриплому, задыхающемуся голосу. И в этом ругательстве вылилась вся злоба его, Евстигнея, против светлых, чистых комнат, музыки, красивых женщин и вообще – всего, чего у него никогда не было, нет и не будет.

Потом он уснул – пьяный и обессиленный, а когда проснулся, – было еще рано. Тело ныло и скулило от вчерашних побоев и ночного холода. Красная заря блестела в зеленую, росистую чашу. Струился пар, густой, розовый.

– Фортупьяны, – сказал Евстигней, зевая. – Вот те и фортупьяны! Стекла-то, вставишь, небось...

Стукнул дятел. Перекликались птицы. Становилось теплее. Евстигней поднялся, разминая окоченевшие члены, и пошел туда, откуда пришел: к саже, огню и усталости. Его страшно томила жажда. Хотелось опохмелиться и выругаться.

Игрушка

I

В один из прекрасных осенних дней, полных светлой холодной задумчивости, неяркого сияния солнца и желтых, бесшумно падающих листьев, я гулял в городском саду. Аллеи были пусты, пахло прелью, земляной сыростью; в багрянце листвы светилось чистое голубое небо. Это был старинный провинциальный сад, изрезанный вдоль и поперек неправильными тропинками; сад с оврагами, густо поросшими крапивой; с кирпичами, мостиками и полусгнившими ротондами. Огромные столетние липы и березы почти закрывали небо; в их влажной сочной тени было так хорошо прилечь, наблюдая маленьких красногрудых снегирей, прыгавших по земле.

Я шел, помахивая тросточкой, вполне довольный настоящей минутой, тишиной и легкими послеобеденными мыслями. Повернув с аллеи на узкую кривую тропинку, я заметил двух мальчуганов, присевших на корточки в густой высокой траве, и подошел к ним совсем близко.

Сейчас трудно припомнить, почему это так вышло. Я человек довольно замкнутый и неохотно сталкивающийся с кем бы то ни было, даже с детьми; возможно, что меня привлекло сосредоточенное молчание маленьких незнакомцев, изредка прерываемое тихими напряженными возгласами.

Оба так погрузились в свое занятие, что я, незамеченный, очутился от них не далее десяти шагов и притаился за деревом. Мальчики продолжали возиться, устраивая что-то свое, понятное им и никому более. Вытянув шею, я разглядел обоих. Один, постарше, лет, вероятно, двенадцати, круглоголовый и низенький, выглядел сильным, задорным крепышом, румяный и загорелый. Другой, тоненький, высокий, с бледным, истощенным лицом и оттопыренными ушами, производил более симпатичное впечатление; природа как будто пожалела его, наградив парой чудных выразительных глаз. Одеты были оба они в летние гимназические блузы и белые форменные фуражки. Крапива и лопухи мешали мне хорошенько рассмотреть странное сооружение, возведенное мальчиками. Я был уверен, что эта незаконченная постройка превратится со временем в уродливую глыбу земли и палок под громким именем «Крепости Меткой Руки» или «Форта Бизонов» – забава, которой увлекался и я в те блаженные времена, когда длина моих брюк не превышала еще одного аршина.

Пока я гадал, старший мальчик согнулся, стругая что-то перочинным ножом, и я увидел два невысоких кола, торчавших из земли очень близко друг к другу. Верхние концы их соединялись короткой, прибитой гвоздями перекладиной. Тут же сзади бледного мальчугана валялась грязная скомканная тряпка.

Круглоголовый сунул руку за пазуху и сказал:

– Думал – потерял. А она здесь.

Он вытащил что-то зажатое в кулак и показал приятелю. Потом бросил на землю. Это была бечевка, смотанная клубком. А я услышал в этот момент тоненькие неопределенные звуки, выходившие, казалось, из-под земли.

Гимназистик кончил строгать и встал. В руках у него был толстый заостренный кусок дерева. Он воткнул его в землю между вертикально торчащими кольями, взял бечевку и крепко аккуратно завязал один ее конец вокруг только что воткнутого колышка. Другой конец спустил через перекладину, и я увидел... петлю. Младший, упираясь руками в согнутые колени, внимательно следил за работой, старательно помогая товарищу бровями и языком, точь-в-точь как на уроке чистописания.

– Готово, Синицын! – сказал крепыш и, быстро оглянувшись, прибавил торжественным, сухим голосом: – Ведите преступника!

II

И тут я сделался свидетелем неожиданной отвратительной сцены. Грязная тряпка оказалась мешком. Синицын встряхнул его, и на траву, беспомощно расставляя крошечные дрожащие лапы, вывалился слепой котенок. Он шатался, тыкался головой в траву и жалобно, тонко скулил, дрожа всем тельцем.

– Ревет! – сказал Синицын, любопытно следя за его движениями. – Смотри, Буланов, – на тебя пополз!..

– Он думает, что мы его оправдаем, – сердито отозвался Буланов, хватая котенка поперек туловища. – Знаешь, Синицын, ведь все преступники перед смертью притворяются, что они не виноваты. Чего орешь? У-у!

Я вышел из-за прикрытия. Мое появление смутило маленьких палачей; Буланов вздрогнул и уронил котенка в траву; Синицын испуганно расширил глаза и вдруг часто замигал, подтягивая ремешок блузы. Я приветливо улыбнулся, говоря:

– Чего переполошились, ребята? Валяйте, валяйте! Интересно!

Оба молчали, переглядываясь, и по сердитым вытянутым лицам их было видно, как глубоко я ненавистен им в эту минуту. Но уходить я не собирался и продолжал:

– Экие вы трусишки, а? Что это у вас? Качели?

Буланов вдруг неожиданно и громко прыснул, побагровев, как вишня. Сравнение с качелями, очевидно, показалось ему забавным. Синицын откашлялся и протянул тоскливым, умоляющим голосом:

– Это... это... видите ли... вот... виселица. Мы хотели поиграть... вот... а...

Он умолк, захлебнувшись волнением, но Буланов поддержал его.

– Так, ничего, – равнодушно процедил он, рассматривая носки своих сапог. – Играем. А вам что?

– Да ничего, хотел посмотреть.

– Вы, может быть, драться думаете? – продолжал Буланов, недоверчиво отходя в сторону. – Так не нарывайтесь, у меня рогатка в кармане.

– Ах, Буланов, – укоризненно сказал я, – совсем я не хочу драться. А вот зачем вы хотели котенка повесить?

– А вам что? – торопливо заговорил Синицын. – Вам-то не все равно? Все одно, его утопить хотели... и еще троих... Я у кухарки выпросил... Вот...

– Ему все равно! – подхватил Буланов.

– Так ведь вы не умеете, – заметил я, – тут нужно знать дело.

Мальчики переглянулись.

– Умеем! – тихо сказал Буланов.

– Ну, как же?

– Как? А вот как, – снова заговорил Синицын, и его бледное лицо мечтательно вспыхнуло, – а вот как: ставят его под виселицу... А стоит он на стуле... Потом палач петлю наденет и...

– Врешь! – горячо перебил Буланов. – Вот и врешь! Сперва еще балахон наденут... совсем... с головой... Ну? Не так, что ли?

– Балахон? Да, – покорно повторил Синицын. – А потом – раз! Стул из-под него вышибут – и вся недолга.

– Это кто же тебе рассказал?

– Кто? Вот он, – Синицын указал на Буланова. – А ему дядя рассказывал.

– И он весь бывает синий, – заявил Буланов, наматывая бечевку вокруг пальца.

– Котенка оставьте, – сказал я. – Жалко. Бросьте эту затею!

Дети молчали. Мое заявление, по-видимому, не было для них неожиданностью, они предчувствовали его и не обманулись моей смирностью. Наконец, сердясь и краснея, Буланов сказал:

– Людей можно, а котят – нет?..

– И людей нельзя.

– Дядя говорит – можно, – возразил мальчик, окинув меня критическим взглядом, и прибавил: – Он умнее вас. Он за границей был.

Возражения становились бесполезными. Авторитет дяди окончательно уничтожал меня в глазах моих противников. И как уверять их, что не он, дядя, умнее, а я?.. Я ударил ногой миниатюрную виселицу, и она рассыпалась. Гимназистики, оторопев, пустились бежать со всех ног, бросив на произвол судьбы котенка, мешок и неиспользованную бечевку. Зверек пищал и ползал, путаясь в высокой траве.

Я обратил их в бегство, но был ли я победителем? Нет, потому что они остались при своем ясном и логическом убеждении:

– Если можно людей, то кошек – тем более...

Быть может, впоследствии, когда жизнь ярко и выпукло развернет перед ними свою подкладку, Синицын и Буланов преисполнятся сочувствия к кошкам и начнут тщательно воспитывать откормленных сибирских котов, но теперь как отказаться от нового романтического удовольствия, приближающего их детские души к непонятному волнующему трагизму современности, захватывающему и интересному, как роман из индийской жизни? «Там» – вешают... И мы...

Впечатления детства... Какова их судьба?

Кошмар

I

Каждый вечер, перед тем, как уйти в свою комнату и лечь спать, я с женой читал вслух какую-нибудь книгу. Чтение продолжалось обыкновенно до тех пор, пока утомленный глаз переставал различать буквы. Самые остроумные, художественные места казались тогда непонятными алгебраическими формулами, смертельно хотелось спать, и сон манил так неудержимо, что никакое интересное положение, описанное автором, будь это дуэль, раскрытие преступления, любовь с сомнительным исходом, – не могло заставить меня бодрствовать и прочесть главу до конца. Книга захлопывалась, я целовал жену, желал ей спокойной ночи и, захватив свечку, отправлялся к себе.

Раньше, год или два назад, пока жизненные заботы еще не расшатали наши нервы и не сделали нас типичными, раздражительными горожанами, чтения эти не были так регулярны и происходили тогда, когда мы чувствовали общий действительный интерес к какому-нибудь литературному или общественному явлению, новому роману, критическому этюду. Тогда часто мы долго спорили по поводу прочитанного, полные искреннего сожаления о том, что в книге слишком мало страниц. А когда стало скучно спорить и читать вместе, потому что вкусы и мнения другого были заранее известны, незаметно окрепшая привычка заставляла меня каждый вечер раскрывать книгу и читать, а жену слушать, пока чрез определенное, небольшое количество страниц не приходил крепкий, здоровый сон.

В тот вечер, о котором идет речь, мы долго не ложились: жена увлеклась разборкой платьев, выбирая те, которые, по ее мнению, можно было подарить прислуге; а я шагал по комнате, машинально останавливаясь около разбросанных юбок и кофточек и время от времени делая бесполезные замечания по поводу той или иной вещи. Ольга была в добродушном настроении и не сердилась на меня, как обыкновенно, если я мешался в ее, женское дело; но все же, когда я выразил сомнение в пользе длинных рукавов, она сказала мне, не отрываясь от сундука:

– Ну и ладно. Если ты ничего не понимаешь, то, сделай одолжение, замолчи.

– Однако я не раз давал тебе советы, – возразил я, – и ты соглашалась со мной. А сейчас я высказал свое мнение только принципиально.

– Держи его про себя, свое мнение, – отрезала Ольга, расправляя пожелтевшие кружева. – Вот.

– Милая, – сказал я, смеясь, – ты бы легла. Ты сонная и раздражаешься. А платья посмотришь завтра; торопиться, кажется, некуда.

– Ну, я уж не могу, – сказала жена, нерешительно рассматривая голубой шелковый лиф. – Начала, так надо кончить. А если скучаешь, почитай мне.

Я послушно сел к окну и раскрыл новую книжку журнала, приготовляясь прочесть рассказ известного, давно не писавшего литератора.

– Ну, слушай, – сказал я. – «Тяжелые дни», глава первая.

– Знаешь, Павлик, – встрепенулась жена. – Я лучше завтра это сделаю. Надо будет и нафталином пересыпать. А?

– Конечно, – усмехнулся я, – ведь это же я и сказал тебе две минуты назад.

– Спасибо.

– Не за что.

Наступило короткое молчание.

– Крошка, – сказал я. – Ты, детка, капризничаешь. Бай-бай пора... Ложись-ка, ложись.

– Спа-ать... – зевнула Ольга. – Скучно. А ты мне почитай, пока я усну...

– Ну, разумеется.

Она стала раздеваться, и я, сидя спиной к ней, по шороху угадывал, какая часть туалета сейчас снимается Ольгой. Вот легкий, упругий треск – это расстегивается кофточка; неуловимый, интимный шум – падают юбки; мягкое волнение воздуха – распушены волосы. Стукнули отброшенные ботинки, и Ольга босиком подошла сзади ко мне, закрывая мои глаза маленькими, теплыми руками. Я поцеловал ее пальцы, встал и сказал:

– Пол холодный, и ты простудишься.

Она сонно улыбнулась прищуренными глазами и села на кровать. Потом юркнула под одеяло и выставила розовое, хорошо знакомое мне и милое лицо.

– Бр... вот холодище, – капризно протянула она. – Завтра с утра – все печи; слышишь, Павля?

– Слышу, – сказал я; разделся, поправил огонь свечки, развернул книжку и стал читать.

Ольга слушала, закрыв глаза, и дыхание ее постепенно делалось все ровнее и глубже. Читал я вяло, но одно место, довольно яркое и с претензией на философское обобщение, расшевелило меня. Я улыбнулся и тронул Ольгу за плечо.

– Оля. Не находишь ли ты, что автор врет? Оля...

Повернув голову, я убедился, что жена спит. Сладкое, медленное дыхание ее грело мои волосы. Жаль. Интересно было бы узнать, что она скажет.

Я мысленно повторил, снова улынувшись, строки, показавшиеся мне избитой чепухой:

– «Нет свободы; нет никакой свободы... Только мысль разве свободна, да и то, как подумаешь, что ничего-то мы не знаем, – так и в этом усомнишься. Так-то, Григорий Абрамович...»

– Нет, Григорий Абрамович, – мысленно обратился я к лицу, выведенному автором в образе юноши, жаждающего подвига, – врет ваш автор.

Мне сильно хотелось спать, и я, даже при большом усилии, не мог бы стройно продумать и высказать свое опровержение. Но казалось мне, что если я, скромный, среднеодаренный человек, бухгалтер большого банка, из мелкого, голодного ничтожества выбился повыше, к незаметному, но полезному интеллигентному труду, женат на хорошенькой доброй женщине и свободен в своем двухсотпятидесятирублевом бюджете, – то есть у меня некоторое право поспорить с автором рассказа. Я сам работал, сам прошел все стадии борьбы за право жить и быть сытым, – а никто другой.

Положив книгу на столик, я обвел глазами красивую, со вкусом выбранную обстановку жениной спальни, и мирная тишина теплой, уютной освещенной комнаты приятно отозвалась во мне спокойным, любовным сознанием трудности жизни и прочности своего места в ее сутолоке. Ольга крепко спала и смешно двигала сонными, розовыми пальцами, полузакрытыми шелком стеганого одеяла. Осторожно поднявшись, я оправил подушку, поцеловал жену в маленькое, оголившееся плечо, захватил свечку и вышел в свою, соседнюю комнату.

II

Очень хорошо помню, что за ужином в этот день не было съедено ничего тяжелого или сырого, ничего возбуждающего, что могло бы расстроить желудок или нервы. Но когда я лег, закурил папиросу и потушил огонь, то сразу неприятно убедился, что заснуть – по крайней мере сейчас – мне не удастся. Не было привычного, хорошо знакомого и приятного чувства усталости во всем теле, желания потянуться, закрыть глаза; напротив, я чувствовал себя странно легко и беспокойно, как будто теперь утро и я только что встал.

Тоскливое сознание этого было мне хорошо знакомо. Обыкновенно в подобных случаях я нетерпеливо двигался на кровати, без конца курил, думал в темноте о чем-то бессвязном, таинственном и неуловимом, чутко отмечая малейший шорох, малейший скрип потолка в уснувшей квартире. Потом тяжело засыпал и вставал поздно, с головной болью и скверным аппетитом.

Тьма, наполнявшая спальню, не была полной, напряженной чернотой ночи, настраивающей бессонного человека болезненным пугливым ожиданием неопределенных звуков и навязчивых мыслей. Поэтому я решил не зажигать огня и постараться задремать.

Слабый месячный свет падал в окно, и переплет рамы на фоне тускло-голубоватых стекол казался толстой, черной решеткой. Столы, стулья и предметы, висевшие на стенах, выделялись из сумрака тяжелыми пятнами, хмурыми и неподвижными. За стеной, в комнате жены, громко и пугливо, как беспокойное сердце, стучал маятник, и по временам, переставая думать, я с автоматической тупостью начинал мысленно повторять вслед за ним: «Ук... ук... ук...»

Не помню, сколько так прошло времени, но постепенно мною стала овладевать странная тяжесть, соединенная с беспокойством и желанием двигаться. Я высвободил руку из-под одеяла, вытянул ноги, но тело было свинцовым, жарким и, как я ни поворачивался, томление не проходило.

Человек я физически вполне здоровый, крепкий, не легко устающий, и если бы такой упадок сил, соединенный с почти полным отсутствием мысли, наступил после трудной, изнурительной работы или сильных тревожений, – это было бы в порядке вещей. Но в этот день я даже не выходил из дома, день был воскресный. Продолжая удивляться и досадовать на предстоящую бессонную ночь, я невольно стал прислушиваться к странному, незнакомому звуку, медленно и тихо проникшему в глубокую тишину ночи. Звук равномерно усиливался, рос, затихал и снова наполнял комнату своим одиноким, легким присутствием.

В темноте чувства обостряются. Думая, что меня, быть может, обманывают мои собственные, бессознательные движения, производящие легкий, незаметный днем шум, я закрыл ладонями уши и совсем замер, вытянувшись лицом вверх. Потом отнял руки и прислушался. По-прежнему глухо и сонно стучал маятник, углубляя царящую тишину, но так же, как минуту назад, ровный, легкий шум, похожий на шарканье калош за окном, вздыхал в темноте, таял, как притаившийся человек, и оживал вновь.

Тихонько, опираясь руками на кровать, я встал и, напряженно ступая босыми ногами, осмотрел стены и мебель. Луна скрылась за тучами, стало темнее. Комната молчала зловеще и хитро; казалось, тысячи невидимых, зорко натянутых струн пронизывали по всем направлениям воздух, проникая в мозг, тело; тысячи струн, готовых крикнуть и загреметь при малейшем стуке или резком движении.

Дверь в спальню жены, плотно закрытая мной, смутно выделялась из мрака огромным, расплывающимся четырехугольником. По-прежнему неуловимый, вздыхающий звук полз в темноте, и вдруг, как-то сразу, неожиданным сотрясением мысли, вспыхнувшим, подобно зажженной спичке, я понял, что звук этот – ровное, глубокое дыхание жены, крепко спящей за толстой стеной комнаты и плотной, ковровой драпировкой двери.

Еще не убедившись в реальности этого открытия, я поверил ему и испугался. Новый звук заворочался в темноте – биение моего собственного всколыхнувшегося сердца. В самом деле, даже громкий, оживленный разговор был всегда плохо слышен из одной комнаты в другую и доносился лишь невнятным, слабым гулом. Теперь же легкое дыхание спящего человека раздавалось вполне ясно и так близко, что невольно казалось, будто человек этот дышит здесь, рядом со мной.

Испугавшись, я машинально схватил ручку и приоткрыл дверь. Холодное прикосновение меди слегка успокоило меня, а затем встревожило еще больше, так как, просунув голову в дверь, я убедился в правильности своего заключения; действительно, это было дыхание моей жены, наполнявшее теперь ее комнату едва слышными, ровными колебаниями.

Растерявшись и вздрагивая от холода, я затворил дверь, стараясь не скрипнуть, и вдруг весь затрясся в припадке дикого, животного ужаса. Мгновенное, сильнейшее сотрясение разбило все мое тело, разразившись тоскливым, неудержимым воплем. Я задыхался. В ужасе и тоске, хватаясь руками за горло, я старался хлебнуть воздуха и не мог. Потолок низко опустился надо мной, и все вокруг, черное, хмурое, кинулось прочь. Заплакав тихими, пугливыми взвизгиваниями, я стукнулся рукой о кровать, очнулся и сел.

III

Некоторое время мысли мои были так безобразно хаотичны, что я с трудом мог дать себе отчет, где нахожусь. Наконец сознание вернулось ко мне, но тело все еще ныло и содрогалось, как от противного, омерзительного прикосновения. В ушах носился далекий, плывущий звон, ноги дрожали от слабости, слегка подташнивало. Голубоватый свет месяца тусклой пылью озарял письменный стол и серебрил черные переплеты окна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.